

Николай Лесков

# Чающие движения воды



Николай Лесков

**Чающие движения воды**

«Public Domain»

1867

**Лесков Н. С.**

Чающие движения воды / Н. С. Лесков — «Public Domain», 1867

© Лесков Н. С., 1867  
© Public Domain, 1867

## Содержание

Часть первая	5
Книга первая	5
I. Свечи, горящие под спудом	5
II. Патриарх, прошедший с мечом и с миром	6
III. Место селения	9
IV. Старгородский робинзон	11
V. Природа, для которой заперли двери, ищет для себя окон	16
VI. Два зайца смотрят один на другого	19
VII. Из одного старого плаща делается несколько новых курток	21
VIII. Робинзон начинает приводить диких в удивление	22
Конец ознакомительного фрагмента.	26

# Николай Лесков

## Чающие движения воды

### *Романическая хроника*

*В тех слежаше множество болящих,  
слепых, хромых, сухих, чающих движения воды.*  
*Иоанн. гл. 5*

## Часть первая

### Книга первая Книга родства и памяти

#### I. Свечи, горящие под спудом

События, заносимые в эту хронику, составляют эпизод из жизни людей одного очень старого города, который стал на русской земле еще во дни оны и до сих пор пережил уже много веков; помнит много владык и видел много поколений..

Старый Город построен не по прихоти завоевателя и не по указной грамоте стольного князя; его поставили здесь люди, излюбившие это место и избравшие себе его в место селения. Определить с точностью время возникновения Старого Города трудно. Ни история, ни предания ничего не рассказывают, когда он построен; но с некоторою достоверностью можно полагать, что Старый Город возник на русской земле еще во времена почти доисторические. Это можно предполагать, во-первых, потому, что о Старом Городе упоминается на самых ранних страницах обоих списков летописи св. Нестора; а во-вторых потому, что в «достоверном сказании», которое хранится у подножия стоящей в старогородском соборном храме иконы святого Николая, повествуется, что икона эта явилась здесь во времена «поганства». Сказание свидетельствует, что упомянутая икона была обретаена в те времена каким-то потаенным христианином на берегу омывающей Старый Город реки Турицы, по волнам которой она якобы и приплыла на большом кресте из плотного серого камня. Несмотря, однако, на такую древность Старого Города, наша история не дарит ему почти ни одной страницы и вспоминает о нем только вскользь и изредка. О древних судьбах его гораздо более интересных сведений сообщает упомянутое «достоверное сказание». Из него явствует, что пращуры нынешних обитателей Старого Города, коснея в язычестве, или, как выражается сказание, в «поганстве», не только не поверили чудесному явлению иконы, но даже и не захотели пустить ее внутрь стен, а, напротив, неистово устремились столкнуть ее снова в реку. Это старогородским пращурам, однако, не удалось. В сказании повествуется, что, с одной стороны, чудодейственная сила иконы поразила язычников временною слепотою и воспрепятствовала видеть им святителей образ; а с другой, в то же время к окопам города подошли вои великокняжеские «и обложиша град и начаше деяние свое». Старый Город сопротивлялся; он стал за своими земляными валами противу воев великокняжеских и отбивался «сопротивно нехотяше принять честного изображения святителя». Но «Богу благоизволившему совершити иная, стяги княжецкие усмирили мятеж и внидоша во град со славословием Господа истинного и его превеликого угодника, утвердили пречестную и благолепную икону святителю на городе и поставили ту иереи».

Нынче эта резная горельеф-икона, богато украшенная золотом и камнями, составляет великоуважаемую святыню Старого Города, и святой Николай Мирликийский почитается его вековечным покровителем.

По народным преданиям, дополняющим вышеупомянутое сказание, икона эта имеет всякие права на то почтение, которым она пользуется. И народный голос, и «достоверное сказание» свидетельствуют, что икона эта являла тьмочисленные заступления Старому Городу во время неурожаев, поветрий, вражеских облежаний и особенно во время тяжелого ига татарского. «Столь великие заступления угодника божия – говорит сказание – прославили град сей во всех градах земли русской, и начаша собираться в он люди от разных стран; овии для поклонения, овии же и на вечные времена zde поселяхуся и начаху созидати град нарочито велик и всяким благолепием обилен».

Церковно-христианский элемент, вошедши однажды в жизнь Старого Города, принимает самое первостепенное значение во все великие моменты его позднейших исторических судеб.

В позднейшие времена, праправнуки пращуров, мятежно сражавшихся с «воями великокняжескими», которые принесли им почитаемую ныне икону, еще раз становились за своими валами против сильного войска царского, приходившего внушать им тождество книг «никонова исправления» с порченными книгами древлепечатными. Правнуки были побиты войсками царскими еще больше, чем прадеды их были побиты стягами великокняжескими; но в горькой судьбе побежденных они явили нечто иное, не отличавшее их языческих предков, коим победители поставили иереев. Новые слушники, выбитые царским воеводою из-за своих тынов и окопов, не поступились ни одною йотою своих верований. Принужденные победителями заклепывать пред строем царского войска свои пушки, самопалы и пищали, старогородцы в великом унижении побежденных заклепали в своих душах всякую щель, в которую могли бы проскользнуть хотя малейший страх власти антихристовой или слабейший звук увещаний, раздававшихся с патриаршего престола. Правда, что Старый Город был разбит на голову и с тех пор никогда уже не поднимал вооруженной руки и не выставлял защищенной броней груди; но зато он весь остался в «вере отцов своих» и, как выражается о нем одно известнейшее в старообрядчестве сочинение, – «страданиями своими и ранами кровоточивыми долгое время сиял, яко камень некий многоценный в венце церкви древней апостольской, от никониан мучимой».

Много позднее местная хроника отмечает еще одно знаменательное событие в жизни Старого Города.

Старый Город платил свои подати, тянул свою тягу. Во всех внешних формах и требованиях он беспрекословно повиновался поставленным в нем властям; но не радел новым порядкам и не сживался с ними. Сознав свое бессилие в открытой борьбе, он обратился к политике. Величая и золотя своих воевод и правителей, Старый Город откупался от их участия в правлении и гораздо менее управлялся этими воеводами, чем старшинами да наставниками, полугласно избравшимися из излюбленных людей города. Эти излюбленные люди ведали общественные дела, и при тогдашней системе подкупов охранили мир и все интересы общего благоустройства и веры. Об одном из таких лиц и упоминает городская хроника, как о первом живом человеке, выделившемся из общественной среды и внесшем своею рукою и мир, и меч в социальную жизнь старогородцев.

## **II. Патриарх, прошедший с мечом и с миром**

В последние годы царствования государыни Екатерины Второй, удержавшей своею рукою свирепствовавшие до тех пор гонения на старую веру, обществом Старого Города был избран в старшины и наставники богатый купец Мина Силыч Кочетов. Это был человек таких христианских добродетелей и совершенств, которому и подобного никого не было с тех пор, как

стал на земле Старый Город. Такого мнения о Кочетове был поголовно весь Старый Город, и, в силу этого единодушного почтения к Кочетову, еще ни один человек в Старом Городе не пользовался таким уважением, доверием и влиянием, какое имел в нем «батюшка Мина Силыч». Без совета Мины Силыча не заводился первый венец в срубе дома; без него не нарекался христианским именем новый пришлец в жизнь, и он же своею рукою сыпал прощальную горсть земли на гроб отошедшего брата. Везде и на всякое время, и на всякий час потребен был миру батюшка Мина Силыч, и по всяк час чтил и помнил за то его мир и честил его всякою честью. Говорил ли Мина Силыч – все безмолвствовали, поучал ли он – все плакали; проходил ли просто по улице или площади – всяк, стар и млад, глядел вслед Мине Силычу с обнаженной головою, и тихий благоговейный шепот повторял о нем, что он «яко ковчег, позлащенный духом, несется, отец наш, над волнами моря житейского, и все мы им одним и спасемся, яко ковчегом, от потопа греховного и вечныя смерти».

Этот духом позлащенный ковчег, однако, не без бурь и опасностей совершал свое плавание по морю житейскому. Встречал он не раз лицом к лицу темные валы, до самого дна раскрывавшие свои широкие пасти; слышал зловеший треск от удара подводного камня и умел обходить беды и напасти; но, однако, с тою бедою, которая шла на его голову, – не справился. Нежданно-негаданно, после долгого затишья, дохнула на древнее благочестие новая невзгода и унесла Мину Силыча далеко-далече от дел, от семьи, от всего, что ему было мило и дорого.

Много пострадал Мина Силыч, влачась силою гонящей его бури с мытарства на мытарство; немало покормил он острожную нечисть своею, постом и молитвою изнеможденною, старческой плотью; бывал на увещаниях синода, говорил свои речи митрополитам и архимандритам, и существует предание, что был даже представлен самому императору Павлу Петровичу. Кочетов нигде не находил прощения своему упрямству, но весьма нередко снискивал себе своим характером глубокие симпатии даже в самых своих судьях и обвинителях. Однако, тем не менее, все эти симпатии не облегчили участи преступного старика. По характеру тогдашних отношений правительства к старообрядству невозможно было и рассчитывать ни на какое снисхождение, особенно для человека, пользовавшегося между своими единоверцами такою известностью, какую пользовался Кочетов. Непреклонного Мину Силыча сослали в Бобруйск и заключили там в крепость.

С безропотным христианским смирением низошел старик со света в темный каземат, и этот каменный гроб, куда схоронили от жизни Кочетова, с первого же дня его заточения дохнул на небо хвалою и песнью бессмертного духа. Стоя на коленях на черных плитах своей подземной темницы. Мина Силыч запел своим старческим голосом из-под земли: «На камени мя веры утвердил еси, расширив уста моя на враги моя и возвесели бо ся дух мой». И песнь его далеко разнеслась людьми, слышавшими ее из окна темницы и повторявшими ее, как песнь оскорбленного ангела.

Между тем, пока узник укреплял дух свой размышлениями и вдохновенными песнями, на русском престоле воцарился император Александр Павлович. Не прошло года с этого воцарения, как перед Миною Силычем разверзлись тяжелые двери его темницы. Нежданный и негаданный явился он домой, убеленный сединами и украшенный ореолом страдания. Старый Город зарыдал от радости и со слезами восторга запел Богу благодарственные молебны. Долгое изгнание Мины Силыча не воспитало ни одного честолюбца, который пожелал бы оспаривать первенство у возвращенного узника, и Мина Силыч опять стал во главе общины и опять начал править мирской корабль.

Шли годы. Русь сразилась с Наполеоном; смятенный народ с часу на час ждал разрушения мира и вдруг услышал о победе и изгнании врага из пределов отчины. Победитель, увенчанный благословениями Европы, собирался в Москву, где по этому случаю ожидали патриотических торжеств, долженствовавших ознаменовать свидание царя с отстоявшим себя народом. Славой Александра и любовью к нему исполнилась вся земля русская: раб и свободь и вся-

ческая не уступали друг другу в теплейшем сочувствии руководителю совершившихся судеб. Старик Кочетов, принимая все это к своему чуткому сердцу, ходил задумчив. Он внимательно прислушивался ко всяким толкам, все что-то соображал и наконец, помолясь Богу, собрал в молельню стариков, положил перед ними древний «начал» христианский и сказал:

– Имею я, православные, на мысли съездить в Москву.

– Значит, есть на то божие произволение, батюшка Мина Силыч, – отвечали ему в один голос православные.

– Хошу бо, братия мои возлюбленные, помолиться у святых мощей святителей божиих Алексея, Ионы и Филиппа за моего освободителя и за освободителей веры нашей и всея державы российской.

– Услышь Господь твою молитву праведную! – отвечали собранные старцы.

– Может быть, и радость какую привезу оттуда, – продолжал, уповательно глядя на небо, Мина Силыч.

– Сердце царево в руце божией! – так же уповательно отвечали ему старцы.

– А вы, православные, помолитесь источнику света и смысла подателю.

– Поклонимся, отец наш, и припадем цареви и Богу нашему.

Затем Мина Силыч поклонился до земли старикам; старики поклонились до земли Мине Силычу; все во Христе братски облобызались и разошлись. Мина Силыч уехал. Прошел месяц, другой, наступил и третий, а от Мины Силыча не приходило никакого известия, и вдруг в половине третьего месяца получено от него послание. «Весть некую, дивную, имам поведать вам, отцы, братия и чадца. – писал Мина Силыч. – Отжените от себя дух суемудрия и гордыни, всячески припадайте к Светодавцу, бдите и молитесь да не внидем в напасть; секира болежит при корени, и всяко древо, не приносящее плода доброго, посекается и в огонь вметается. Огнен глагол и слово нельстивое принесу вам; но к сему не блазнитесь и не стужайтесь духом; но испытайте разумом и егда приидет час, с рассуждением всяким примите».

Ничего не могли себе растолковать деда Старого Города, получив это послание батюшки Мины Силыча, и по его наказу только усерднее припадали и молились.

Приехал наконец и сам Мина Силыч. Он приехал важный, строгий, с лицом серьезным и озабоченным. Приняв хлеб-соль на крыльце своего дома, он никого не позвал к себе и сам ни к кому не зашел, а попросил всех собраться завтра утром в молельню.

– Призовем сил небесных воеводу и стратига и там побеседуем, – произнес он, словно ополчаясь на брань и призывая на свой стяг благословение небесного воеводы.

Утром в молельне пели большой молебен. Мина Силыч вошел в рабском азыме с лестовкой и стал сзади всех в уголочек.

– Отцы, братия и чадца! – начал он, приложившись после молебна к налойному образу, – ведомо ли из писания вам, что раздельшееся о себе царство – погибнет?

– Ведомо, – пронеслось в ответ в народе.

– Ведомо же, уповаю, и сие, что «уне есть единому человеку погибнути за люди, да не приидет им соблазн в мир?»

– И сие ведомо.

Мина Силыч поклонился и продолжал другим тоном:

– Теперь, мню, небезызвестно всем вам, что, по своей чрезмерной милости, неисповедимый Господь избрал меня на некий краткий час сосудом терпения и сподобил пострадать за святую веру отеческую?

– Знаем, батюшка наш Мина Силыч, помним, родитель дорогой, помним, – волною прокатилось по всей молельне.

– Поведаю же вам ныне, – заговорил, вздохнув из глубины груди, патриарх, – что был я в первопрестольном граде Москве. Совершил я путь сей сколько своим хотением, столько же и

произволением Божиим; видел пресветлые очи царские; обласкан был его словом милостивым и беседовал с святителем коломенским.

По молельне пронесся неровный шепот.

– И того ради, – продолжал, не обращая на это внимания, Кочетов, – послал я вам послание мое рабское о глаголе огненном, его же прииде час возвестити вам. Отцы, братия мои и чадца! – Мина Силыч осенил себя большим крестом и сложил на груди накрест свои руки и опустился передо всем народом на колени. – По вере моей глубокой и по моему истинному обращению приобщен я тела и крови Господней из рук иерея божия во святом храме русском, древнем, и всякую рознь с общею матерью нашею церковью русскою отвергаю и порицаю.

Произнеся этот «огнен глагол», Мина Силыч поклонился до земли и не поднял своей белой головы от полу. Народ стоял, как стадо овец, испуганное внезапно блеснувшей молнией. Никто не ответил Кочетову ни одним словом, и в глубочайшем молчании вся смущенная семья старогородская, человек по человеку, разошлась по домам своим. Последний поднялся с полу Мина Силыч, поклонился у порога сторожу, произнося «прости, будь милостив», и побрел ко двору своему, глубоко тронутый, но спокойный.

Результатом этого «глагола» было первое разъединение в Старом Городе, не знавшем до сих пор общественного разлада. Дух *новшества*, дух прогресса ударил Старый Город в те же самые религиозные интересы, которым обыкновенно наносили удары вои княжецкие и полки царские; но нынешнее новшество смутило Город паче всего доселе бывшего.

– Враг ввиду нас есть, – шепнули дрогнувшие в страхе суеверные сердца и увидели отсюда начала болезням.

На Мину Силыча ополчился целый собор; и после долгих бесед и прений стариков с Миной Силычем «царство разделилось». Авторитет Кочетова оказался так велик, доводы его так убедительны, что добрая половина Старого Города немедленно же пошла во след своего старого наставника. Таким образом воочию всех в Старом Городе совершилось то, чего столетие назад сильные воеводы не могли добиться ни пытками, ни пищалями, ни кнутами. Совершилось все это мирно, просто, по манию одного человека, души которого касалась искра Божия и свет разума.

Но не все, как сказано, ушли вслед за восторженным Миной Силычем, и другая половина города, под рукою вновь избранного ею себе наставника, Семена Дмитриевича Деева, осталась в прежней вере.

От этого дня в Старом Городе стали два согласия, две веры, два рассуждения, два во взаимной друг к другу вражде выраставшие поколения.

Такова, в своих главных чертах, история цивилизации Старого Города, с которою коренные его обитатели должны были встречать все явления позднейшей эпохи и относиться к ним по мере своего разума.

### III. Место селения

Уготовившие место селения истлели и рассыпались прахом; но камни вопиют о них и поныне. Как бы вы ни были развлечены, с каким бы равнодушным невниманием вы ни приближались к Старому Городу, его вопиющие камни непременно сумеют заставить вас почувствовать, что у них есть история, и хоть на минуту перенесут вас ко временам этой истории. Все эти конические колокольни, узкие улицы, типические русской постройки дома, остатки стен и валов держат над городом исторический флаг, который говорит вам, что все видимое вами возникло здесь не по указу губернского правления и выводилось не по бесхарактерным планам новейшей архитектуры. Но Старый Город по самой строгой справедливости должно назвать городом не только характерным, но и весьма красивым. Характерные памятники его исторической старины расставлены среди одного из живописнейших местоположений, прелестью кото-

рых, как известно, не очень богата наша отчизна. В ряду ровных и однообразных местностей срединной России, местность, занятую Старым Городом, по справедливости следует считать очень веселой и привлекательной. Правда, здесь нет ни могучей Волги, ни сердитого Днепра с их широкими, размашистыми картинами; картина Старого Города маленькая, пожалуй, даже вовсе не картина, а пейзажик, но пейзажик до бесконечности живой и веселый. Оба берега глубокой, судоходной речки, по берегам которой, как сказочный городок в табакерке, раскинут Старый Город, очень круты. Правый из них обрывист, а левый, покрытый зеленою травою, покат. На правом, обрывистом берегу, как раз над самой рекою, возвышается очень старый собор с упомянутою историческою явленною иконой. Если стоять на противоположном пологом берегу, то от собора вниз по течению реки видны необыкновенно высокие, острые фронтоны красных деревянных крыш на каменных домиках и совершенно конусообразные купола старинных желтых колоколен. Еще далее чуть видны над землею одни острые верхушки кровель да высокие дымовые трубы с огромными колпаками из синей горшечной глины. В конце этой, постоянно скрадывающейся и исчезающей на горизонте черты, снова вдруг выступает на берегу тяжелое, очень старинное здание, окруженное каменной стеной, из-за которой тяжело поднимается вверх желтая колокольня, завершенная белым кирпичным куполом с проделанными в нем крошечными продолговатыми окошечками. Это мужской монастырь, которым заканчивается правая сторона Старого Города.

Весь обрыв правого берега реки состоит из толстых пластов красно-бурой глины, местами прорезанной слоями рыхлого, ноздреватого плитняка. Слабый камень этот беспрестанно щелушится и осыпается, покрывая мелким мусором проложенную под обрывом узенькую проездную дорожку. С этого берега, только в одном месте, пробит не совсем безопасный спуск, идущий спирально к наводному плашкотному мосту. Кроме этого спуска, вниз от забора по зигзагам и выступам обрыва еще вьется узенькая тропиночка, которою ходят с горы к роднику, что бьет из-под каменного креста, приплывшего сюда, по преданию, вместе с явленной иконой. Главный, крутой спуск, в позднейшие времена значительно исправленный и шоссированный, называется «Батавиным взвозом», а узенькая тропинка, ведущая к реке от собора, – «Крестовую тропую». Происхождение названия тропы было весьма ясно: тропу прозвали крестовую потому, что ею главным образом ходили за водою «ко кресту»; но отчего главный взвоз назывался «Батавиным» – достоверно неизвестно. Одни говорят, что был какой-то инженер Батавин, трудившийся над исправлением этого спуска и давший ему свое имя; а другие думают, что такого инженера не было, а что был разбойник Батавин, который проезжал по этому спуску с своею отчаянною ватагой; но которое из этих двух сведений вероятнее, в Старом Городе никто не может объяснить и поныне.

Общий вид этой стороны напоминал волшебный городок Гвидона в иллюстрированной сказке Пушкина про царя Салтана.

Ландшафт, открываемый левою стороною, гораздо свежее и еще живописнее. По менее крутому склону левого берега, зарастающему летом бархатной травкой, а зимою покрываемому белым, сверкающим снегом, идет ряд чистеньких, невысоких деревянных домов с новыми низкими кровлями и нередко с цветными стеклами в оконных рамах. Прямехонькая линия до кокетливости опрятных деревянных домиков занимает самый гребень холма. Ниже по скату раскинуты дощатые хибарки рыбаков, и в ряд с ними тянутся длинные землянки, в которых помещаются собирающиеся по веснам бурлацкие ватаги. Еще ниже всего этого, уже почти у самой воды, на небольшом бугорочке стоит нештукатуренная каменная часовня, в которой, при отплытии караванов, служат чудотворцу напутственные молебны.

Саженья в полтораста вверх от плашкотного моста, против самой крестовой тропы, левый берег пересекается глубокою котловиною, по дну которой очень быстро бежит прозрачный и довольно глубокий ручей «Гремяк». Гремяк вытекает всего верст за шесть от города из чистого подгорного источника, называвшегося Гремячим Колодцем. Шибко несется этот

чистый ручей по глубокому удолю, оживляя его своим веселым рокотом, и впадает под прямым углом в речку.

Удолье, по которому катился веселый Гремяк, по имени ручья называлось «Гремучим Верхом», или «Громьяковым Беремищем». Последнее название встречалось, впрочем, только в актовых книгах города и изредка слышалось из уст особых почитателей местной старины. Современный люд обыкновенно называет это удолье «Гремучим Верхом», или еще короче «Гремяком», или, наконец, просто «Заречьем». Место соединения Гремучего ручья с рекой Турицей было необыкновенно красиво и могло выдержать самые беспристрастные сравнения с лучшим из уголков, известнейших своею живописностью.

От самого впадения Гремяка, на целую версту или на две вверх по направлению к его истоку, идут густые, страшно разросшиеся сады. В темной зелени этих садов совсем тонут небольшие беленькие домики, прилепленные, как гнезда стрижей, один выше другого по обоим склонам верха. Летом, когда деревья одеты цветом и зеленой листвою, домики эти так ревниво скрыты этой богатой растительностью, что редкий из них выглядывает на улицу одним или двумя окошечками из-под своих, то красных тесовых, то темно-бурых соломенных кровель. По тот и другой бок Гремякова Верха было всего только по одной улочке. Обе эти улицы были немощеные, но, благодаря супесковатому грунту, постоянно отличались своею чистотою от грязных улиц «Ботавиной Стороны», где немощеная красная глина при малейшем дожде открывала топь невылазную. Обе стороны Гремучего Верха сообщались между собою множеством узеньких тропинок, из которых противу каждой были переброшены с одной стороны на другую утлые лавы, сколоченные на живую руку из пары досок и снабженные перилами из одной тонкой слежки, привязанной кое-как к колу или к надбережной раките.

Река Турица, отделяющая Ботавинскую Сторону от Заречья, судоходна только вниз от моста. Вверх же от моста она глубока лишь местами, имеет большие песчаные отмели и в одном месте образует значительной величины остров, подходящий под самый мост. Остров этот очень долгое время был пуст и заброшен: на нем рос лишь высокий бурьян и глухая крапива; но лет двадцать тому назад на нем разведена большая огородная бакша, составляющая нынче временную собственность одного очень оригинального человека, ставшего вне старогородских религиозных партий и избравшего себе путь – им же не всякий способен идти.

#### **IV. Старогородский робинзон**

С тех пор, как смерть смежила вежди и восторженные уста батюшки Мины Силыча, в Старом Городе не было человека, который пользовался бы такою популярностью, какою пользуется там в это время очень скромный человек, обработавший бесплодную почву ныне плодородного городского острова. Человек этот происходил от колена самых яростнейших врагов Кочетова, от колена купца Деева; но не род и не порода, а жизнь этого человека и его история дали ему его настоящую известность.

Купец Семен Дмитриевич Деев был только виновником зол для этого человека. Это небольшая история, которая требует небольшого шага в сторону. Сделавшись главою людей, не пошедших во след Кочетова, старый Деев построил себе большой деревянный дом «на отлете», в самом конце города. Нынче никто не живет в этом доме, и он стоит одинокий, сумрачный и неприветливый, не принимая никакого участия в жизни. Таков же, впрочем, был этот серый двухэтажный дом с двумя ярусами маленьких окошек и в те дни, когда в нем еще обитали живые люди и в окна его светили мерцающие огоньки неугасимых лампадок. Дом этот не хотел иметь сообщения ни с кем и немилосердно карал тех из своих обитателей, у кого по какому-нибудь случаю замечалось хоть малейшее желание сблизиться с остальным миром. В целом городе никто не имел никакого понятия о том, как живет в доме Семена Деева. На улице старогорожане встречали только самого Деева, но встречали его всегда капризного, угрюмого,

ко гневу склонного и мстительного. Если же встречался где-нибудь кто бы то ни было из других жильцов этого дома, то все смотрели на него с чувством некоторого ужаса и удивления, как на выходца с того света. О женщинах, живших в этом доме, знали еще менее, чем о мужчинах. Они там рождались или приходили туда для сожительства, там же и умирали. Ворота деевского дома затворялись за ними только за мертвыми. Но были из этого и исключения.

Пятьдесят лет тому назад, в одну самую бурную, темнейшую и человеконенавистную ночь, грозный деевский дом вытолкнул в неприютность молодую девушку, не почтившую его уставов, и захлопнул за нею свою калитку.

Дом словно выплюнул спросонья это дитя и снова захлопнул до другого случая свои сердитые веки.

Вытолкнутая девушка была сирота, племянница Семена Деева, Аксинья Матвеевна. Ей было тогда всего восемнадцать лет; но, несмотря на свое строгое, девичье затворничество, она знала, куда ей нужно идти в эту суровую ночь своего изгнания. Она шла из улицы в улицу, из переулка в переулок, прямо к одному очень маленькому серенькому домику на церковном погосте и здесь робко постучалась в покосившееся окошко. Через несколько минут она постучалась еще смелее, и в ту же минуту навстречу ей выскочил молодой человек в одном белье и в сапожных опорках.

– Ксюша! Косатка! – вскричал он с изумлением, увидя перед собою девушку.

Изгнанница только уныло шепнула:

– Выгнали.

– Выгнали?

– Выгнали, совсем избили и выгнали.

Молодой человек с беспечнейшею радостью широко распахнул калитку и, перехватив к себе девушку, запер задвижкой ворота и внес на руках свою дрожащую гостью в очень небольшую горенку.

Весь этот домик, куда пришла Ксюша, состоял из одной крошечной горенки и еще меньшей приспешной. Он принадлежал церковному пономарю Ионе Пизонскому. Это был человек одинокий, молодой, проводивший беззаботнейшую жизнь и распевавший с голода самые веселые песни, которые полонили для него сердца старгородских затворниц и добыли ему пылкое сердечко изгнанницы деевского дома. Сцена, которую мы видели, была сцена, резюмировавшая их тайную любовь в тот момент, когда силою природы вещей любовь эта перестала быть тайною для деевского дома.

Выгнанная сирота, скромная, как агнец, забытый пастырями в лесу, полном всякого хищного зверя, было существо самое любящее. Она, как большинство смиренных женщин, пошла на все за своим любимцем: она приняла его веру, его имя и звание – сделалась его женой, а через пять месяцев родила ему сына Константина.

– Оступилась и не доносила, – острил на свой счет по этому случаю пономарь Пизонский; а через год сам оступился, рубя осенью хворост на крутом обрыве над Турицею; полетел вниз головою и один одиноко отдал свою веселую душу единому Богу.

Пономарица осталась с годовым ребенком одна, яко перст.

Ворота деевского дома, в которые постучалась вдова в эту годину несчастья, отворились только для того, чтобы послать ей одно проклятие.

Но сказано не на ветер, на Руси люди с голоду не умирают, если не хотят того сами.

Не имея ни роду, ни племени, ни пристанища, куда приклонить голову, вдова Пизонская приютилась в женском монастыре, в келейные к какой-то монахини. Туда же в женский монастырь внесла она с собою и своего сына, назвав его обманно девочкой Макриной. Хитрость, вызванная отчаянным положением вдовы, удалась ей как нельзя лучше. Благодаря беспрестанному бдению матери, настоящий пол ребенка не был никогда обнаружен никем; но зато и не знало его и само дитя, и само оно тоже считало себя девочкой. Когда же Константин Пизонский

под псевдонимом Макрины достиг в монастыре двенадцатилетнего возраста, вдова Пизонская, заботясь о воспитании сына, вывела его вон из обители, передела в овраге из юбки и платья в нанковый халат и отдала в духовное приходское училище под его настоящим именем Константина Пизонского. Но книжная премудрость не далась ребенку. Несчастное дитя прежде всего сделалось всеобщим посмешищем. Скинув с себя свой женский псевдоним, оно, во-первых, никак не могло приучиться считать себя мальчиком и постоянно говорило: «я была, я пришла, я ела», а это дало повод издеваться над ним с первой же минуты. Учиться ребенок был очень способен; но тогдашняя училищная строгость и ядовитые доуки товарищей отняли у него всякую возможность успеха. Запуганность его дошла до невероятных пределов и была причиною окончательного смещения его в неспособные. Однажды, еще вскоре после своего поступления в училище, Пизонский, надписывая свое имя на тетради, вместо Константин написал Кинстинтин. Учитель поймал его на этой ошибке и, ударив по голове лозою, спросил:

– Как твое имя?

– Константин, – отвечал ребенок.

– Пиши на табуле.

Дитя взяло дрожащею рукою мел и почувствовало, что рука его бежит, бежит, бежит неудержимо и чертит одну за другою бесконечные буквы. Во всю доску тянется Константин-тинтинтинтинтин... и все нет ему конца, нет заключения, нет предела. Ребенок чувствует, что это что-то не то, что это что-то неладно, – он млеет, дрожит и все ведет слог за слогом: «тинтинтинтинтин»...

– Что ты, стрикулист, так больно длинен? – замечает ядовито учитель. – Держись, по крайней мере, остолоп, своей препорции!

Пизонский быстро стер с доски бесконечную цепь слогов и твердою, решительною рукою написал короткое: «Котин».

Приведенный в недоумение этим быстрым сокращением протяженно-сложенного слова, учитель счел это за оскорбительный фарс: он снова резнул Пизонского лозою по уху и снова еще более строгим голосом напоянул ему о соблюдении «препорции».

– Не могу, – решительно отвечал ребенок.

– Чего ж ты не можешь?

– Не могу написать по препорции.

Учитель качнул назад головою, и дитя, зная, что означает сей знак, с невозмутимую покорностью подошло к скамейке, у которой всегда лежали в ведре, по всяк час готовые, пучки розог.

– Ну, Макрина, укладывайся! – приглашали его очередные секуторы, и совершалась казнь.

И всякий раз повторялись над ним эти шутки и потехи; и всякий день выводил он целый час, при общем смехе, бесконечное *Константинтинтинтинтин* и потом, доходя до отчаяния, вдруг писал короткое – *Котин* и шел к секуторской скамейке. Всякий день его стегали по незажившим рубцам, и он все-таки не входил в свою препорцию, а всегда или полз с своим именем в бесконечность или отчаянно ставил короткое: «Котин».

Окончилось воспитание Пизонского тем, что товарищи сломали ему носовой хрящ и своротили на сторону нос; а начальство исключило его «за великовозрастием и малоуспешием» из училища и предоставило ему избрать себе дозволенный законом род жизни. Для Пизонского все дозволенные роды жизни были равнозначущи и равноценны, а потому он вовсе не заблагорассудил позаботиться об избрании какого-нибудь одного из них себе в исключительную собственность. Он прежде всего подумал о хлебе и поступил в науку к какому-то энциклопедисту-ремесленнику, меднику, механику, переплетчику, астроному и поэту. Вдвоем с своим чудачком-хозяином они были все и ничего: они переплетали книги, малярничали, лудили кастрюли – и все это делали «ничтоже сумняшеся», и дешево, и скверно. Скудного

дневного заработка им едва доставало на самое нищенское пропитание; но это их нимало не смущало. Сидя зачастую и без работы, и без хлеба, они забывали о голоде, азартно читали какую-нибудь старую астрономию и тыкали пальцами по засаленному небесному атласу. Спускающаяся на землю вечерняя темнь только пригоняла их к окну, из которого они глазели целые ночи на небо и определяли созвездия или читали на память Танкреда и козловского «Чернеца», или же, наконец, усевшись на порожке своей хаты, распевали дуэтом:

О, человек!  
Вспомни свой век.  
Взгляни ты на гробы,  
Они вечны дома.

Неизвестно, докуда бы продолжалось такое сладкое и поэтическое житье нашей Макрины, если бы ее, как человека, не избравшего себе в срок никакого дозволенного законом рода жизни, не отдали «по разряду» в рекруты. Пошел Константин Пизонский на царскую службу. Три года он пробыл писарем и шутом в какой-то батальонной канцелярии и наконец, по ходатайству матери, возвращен для ее прокормления. Но своей старухи Константин Пизонский, возвратясь домой, уже не застал на свете. Он пришел в Старый Город и явился к дяде Маркелу Дееву. Маркел Семенович Деев допустил Пизонского к себе на глаза, выслушал все, что тот говорил ему, а потом позвал всех, кто у него был в семье, и сказал племяннику:

– А ну-ка, повернись!

– Как, дядюшка? – спросил Пизонский.

– Так, боком повернись.

Тот повернулся.

– Ну, а теперь задом стань.

Пизонский и это исполнил.

– Хорош? – спросил Маркел Семеныч домашних.

Общий хохот, где громкий, где сдержанный, раздался из всех углов в ответ на это восклицание.

На Пизонского, и действительно, трудно было смотреть без смеха: его лысая и вдобавок по-солдатски обточенная голова; его кривой нос, его птичьи – круглые глаза, синие губы и длинный нанковый капот, купленный в том городе, где кончилась его военная карьера, – все это вместе взятое давало самый смешной и странный характер его фигуре.

– Служил куцом бесом три года и выслужил три пуговицы – и то ладно. Ну, и больше же, брат, не хлопочи, не оборачивайся, а как стал теперь лбом к порогу, так и иди вон, откуда пришел, – объявил ему дядя, твердо и решительно изгоняя навсегда из своего правоверного дома сына еретика и еретицы.

Пизонский вышел. С непокрытою от рассеянности головою прошел он по всему городу, удивляя прохожих, которые смеялись над ним злее, чем дети смеялись над лысым пророком. Пизонский, однако, был терпеливей пророка, он никого не проклял, а только тихо поплакал, севши под ракитой за городскою заставой. Он был совершенно бесприютен и сидел на дороге, как ощипанный филин. Но невозможно же было вечно сидеть здесь. Пизонский вспомнил, что у него где-то неподалеку от города была замужем за однодворцем материна племянница, а его двоюродная сестра, по фамилии Набокова, и пошел искать ее. Шел он – близко ли, далеко ли, и пришел на другой вечер в село, где надеялся увидеть свою родственницу и где узнал, что ни ее самой, ни ее мужа в живых нет, а что остались после них две девочки, Глаша лет пяти, да Нилочка – по второму году; но и их, этих сирот, нету в наличности, и их забрала к себе на воспитание слепая нищая, Пустыриха. Вот тебе и весь род, и все племя!

«Пойду, посмотрю, по крайней мере, хоть какие эти девоньки», – подумал все более и более сиротевший Пизонский, и он отыскал Пустыриху и нашел у нее детей.

Встреча его с детьми была перед вечером. Обе девочки, в ветчайших рубищах, сидели на пыльной завалинке: старшая играла, подкидывая ручонками крошечные камешки, а младшая – томилась, лениво глядя глазенками за сестринными руками.

Пизонский выскочил к ним неожиданно, из-за угла хаты, и остановился перед ними, как сказочный гений.

Посмотрев на детей, он сел перед ними на травку и обнял их обеими руками.

– Голубятки! – заговорил он. – Плохо вам тут у бабушки?

Дети пугливо прижались одна к другой; сначала долго друг на друга смотрели и потом обе разом тихо заплакали.

– О, да вы, птенцы, не плачьте; я вот вам гостинца выну. – С этим словом Пизонский опустил в карман руку и, достав оттуда немного смятую печеную луковицу, обдул прилипшие к ней крошки хлеба, разломил ее ногтями пополам и подал сироткам.

Тайный ли голос крови, или заманчивый вкус сладкой печеной луковицы, сразу расположил сироток к Пизонскому. Они сползли с завалины, уселись одна против другой на его коленях и сосали лук, теребя ручонками ясную солдатскую пуговицу, пришитую к воротнику его коленкорového халата.

– Бьет вас, детки, бабушка? – начал прямо Пизонский, поглаживая девочек по головкам.

– Бот, – прошептали разом тихо дети.

– И больно?

– И боно, – проронили они еще тише и робче и, смаргивая слезки, напряженно смотрели с раздражающей детской тоскою на пуговицу.

Пизонский развздыхался. Необъятная любовь и нежность овладели его сердцем. Он сразу решил, что никак не может оставить здесь этих девочек, и, дождавшись возвращения Пустырихи домой, попросился у нее переночевать. Ночью Пизонский все вставал и наведывался к детям, а утром, забывая собственную беспомощность и бесприютность, стал умолять старуху, чтобы она отдала ему сироток.

– Я их, бабушка, воспитаю; я выучу их, бабонька, – говорил Пизонский.

Старуха и слушать об этом не хотела. Она выгнала самого Пизонского и захлопнула у него перед носом дверь свою.

«Тягаться с нею судом, – подумал Пизонский, – долго, и денег у меня нет на то, да и пока власти велют ей отдать мне детей, она их непременно ослепит». Но расстаться с детьми и снова идти бог знает куда одному Пизонскому теперь уже показалось невозможно, и он в течение следующей за сим ночи придумал нечто другое. Увидев где-то у одного крестьянского половня лозовую плетушку, в которой носят мякину и ухоботье, Пизонский утащил ее за сарай, высыпал из нее вон ржаной колос, настлал на дно свежего сена и припрятал у Пустырихи на огороде. Чуть только на другой день выглянуло на небе солнышко и Пустыриха, по заведенному порядку, тронулась с поводаркой в побор, Пизонский схватил оставшихся дома девочек, посадил их в плетушку, подцепил ее своим кушаком за плечи и с длинным костылем в руке зашагал своими длинными ногами к городу. Боязнь погони и страх за участь детей, которые, как не оперившиеся птички, спали, свернувшись в плетушке за его плечами, так гнали Пизонского, что он, не отдыхая, отмахал в летний день шестьдесят верст и вечером стал в Старый Город. Здесь ему не было места одному, и сюда он теперь являлся еще с двумя взятыми на свое попечение детьми.

Качаясь за спиною Пизонского, обе путешествующие в плетушке сиротки спали целый день, но вечерняя прохлада разбудила их, и они начали с холоду ежиться и попискивать. Правда, это уж было зато у пристани. Пизонский в это время уже свернул в сторону в подгородние конопляники. Здесь он взял обеих девочек подмышки, вытряс на землю бывшее на

дне плетушки сено, уложил на него детей, сел над ними на корточки, как наседка, и, подобрав их под грудь, в течение всей короткой ночи согревал их животную теплотою собственного тела.

## **V. Природа, для которой заперли двери, ищет для себя окон**

Ранним утром, чуть только вспыхнуло погожее солнышко, Пизонский встал с своего места, накрыл спящих детей плетушкой и, чтобы они, проснувшись, не могли ее с себя сбросить, связал над нею крест-накрест четыре пучка конопли и вышел из своей засады. Оглядевшись на все стороны, он вздохнул, перекрестился и прямо задами побрел к городским огородам. Город еще спал, нежась в подымавшемся с реки дымчатым тумане. Места, которыми теперь шел Пизонский, очевидно, не были ему очень знакомы, потому что он долго осматривал, припоминал малейшие приметы и, только после долгих соображений, открыв глазами большой огород, обнесенный кругом высоким плетнем из лесной орешины, направился прямо к этому огороду и перелез через его плетень. Очутившись затем на самом огороде, Пизонский быстро пробежал, согнувшись, по межам и спрятался в грядках наперенного тычинками гороха. Он присел здесь тихо и только по временам нетерпеливо приподнимался оттуда и кого-то высматривал. Целый час он просидел в горохе, то робко высовывая свою голову выше зелени, то снова быстро падая в межу при малейшем шуме. Ради каких соображений явился сюда Пизонский, только несколько дней тому назад изгнанный из этого дома с неслыханной суровостью и позором, и кого он теперь желал здесь встретить? Этого отгадать было невозможно. Одно только можно было основательно предположить, что Пизонский ждал здесь не Маркела Семеныча.

Пизонский действительно выжидал появления совсем другого лица из семьи Деевых и невыразимо смутился, когда тихо скрипнули ворота заднего двора и на огород вышел высокий кучерявый парень в светлой розовой рубашке. Это был не Маркел Семеныч и не сын его, Марко Маркелыч, но, очевидно, это все-таки был не тот, кого желал встретить Пизонский. Завидя вышедшего молодца, Пизонский снова упал в горох и пригнулся как можно ниже. В это же время только что вошедший молодой человек сделал несколько шагов по узкой дорожке, разделявшей гряды огорода на две ровные половины, подперся левой рукой в бок, тихо зевнул и, весело глянув по широкому пространству, занятому росистыми овощами, потянулся и стал, почесывая сапожком одной ноги другую. Пизонский опять было приподнял тихонько голову из гороха, но зато опять сейчас же и юркнул, испуганный новым скрипом огородной калитки. В этот раз на калитке показалась высокая молодая женщина с свежим румянцем и прямыми соболиными бровями. Она была одета в темной шерстяной юбке, старенькой гарнитуровой душегрейке и покрыта по голове белым бумажным платком с розовыми каемочками.

Завидя эту женщину, Константин Ионыч покраснел от радости до ушей и заметался по меже. Несомненно, что это и было то самое лицо, которое он хотел здесь видеть, и что теперь его занимала одна мысль: как привлечь на себя ее внимание, не обратив на себя в то же время внимания стоящего парня. Но это было невозможно, и Пизонский после первого волнения, продолжавшегося несколько секунд, вздохнув, снова присел на колени и, удерживая дыхание, стал торопливо раздвигать синеватые усы гороха.

Между тем, белолицая красавица, войдя на огород, приподняла одною рукою от росной травы юбку и прямо направилась к гряде с молодым свекольным. Пизонскому показалось, что, завидя стоящего на дорожке парня, молодая женщина немножко смутилась и зарумянилась. Дойдя спокойной поступью до гряды, она поставила на межу большую распisanную сусальным золотом деревянную чашу и стала проворно срывать и класть в нее молодые свекольные листья. Этим временем парень приблизился к ней тихой, щеголеватой походкой и с веселой улыбкой проговорил:

– Здравствуйте, невестка!

Та, к которой относилось это приветствие, не обратила на него никакого внимания.

Молодой человек снова усмехнулся; он обошел невестку с другой стороны и на этот раз уже гораздо смелее и громче прежнего проговорил:

– Платонида Андревна, здравствуйте!

– Здравствуй и ты, Авенир Маркелыч, – отвечала, не подымаясь от гряды, Платонида Андревна.

Авенир отдал невестке низкий поклон и стал помогать ей рвать в чашку свекольник.

– Ну, а помогать мне я тебя не прошу, – говорила Платонида Андревна и с этим словом выбросила назад из чаши наложенный Авениром пук листьев.

– Отчего так, невестка, не просите? – запытал, распрямляясь во весь рост, молодой деверь.

– Так; не хочу, да и только, чтобы ты тут вертелся. Авенир улыбнулся, опять нарвал другую горсть зелени и опять положил ее в расписную чашку.

– Иди ты, сделай милость, от меня со своей помощью прочь, – вскрикнула красавица и, не выдержав, рассмеялась и бросила в лицо Авениру нарванную им зелень.

Авенир, кажется, только и дожидался этой перемены.

– Ну что же это, невестка, вы за красавица! Вот ей Богу, разрази меня Бог на сем месте, а нету на свете ни одной царицы такой красивой, как вы! – заговорил он, глядя на нее со сложенными на груди руками.

– Тьфу! – отплюнулась без сердца Платонида Андревна и опять стала рвать белой рукою росный зелено-синий свекольник.

– А отчего это и об чем вы, невестка, вчера с вечера плакали? – начал спрашивать ее Авенир.

– А ты почему это знаешь, что я плакала?

– Да я ж будто не слышал!

– Гм! Где ж это ты, дурак, мог это слышать?

Платонида Андревна улыбнулась и сказала:

– Нет, я вижу, что вправду надо про тебя Марку Маркелычу сказать, чтоб тебя на ночь запирали; чтоб ты под окнами, где тебе не следует, не шатался.

– Ну, у меня про то на случай и потолок в палатке разбирается, – весело отвечал Авенир.

– Дурак ты сам-то разборчивый и больше ничего, – проговорила Платонида Андревна. – Мало тебя, дурака, и без того за меня колотят, так ты видно хочешь, чтоб еще больше тебя брат с отцом колотили; ну и поколотят.

– А пусть их пока, невестка, какое время еще поколотят. Только я чуть ли скоро и сам не начну им сдачи давать.

– Ну да, как же! сдачи! Нет, а ты вот что, Авенир; он вон свекор-то Маркел Семеныч намедни при всех при отцах из моленной сказал, что такую духовную напишет, что все одному Марку Маркелычу отдаст, а тебе, глупому, за твое непочтенье к родителю, шиш с маслом.

– Что ж? вы же, невестка, с мужем богаче будете.

– Ммм!.. Нет, скажи ты, пожалуйста, что ты это в самом деле, Авенир, себе думаешь?!

– А ничего я, невестка, не думаю. Про что мне много думать-то?

– Нет, нравится тебе, что ли, чтоб били тебя, да колотили, да еще нищим сделали? Что ты это забрал себе в голову?

Авенир молчал и стоял сложа руки. Платонида Андревна, сдвинув брови, говорила внушительно:

– Ты б то, непутящий ты парень, взял себе в разум, что я ведь твоего брата жена; невестка тебе называюсь.

– Да я разве этого не помню, что ли? – отозвался нетерпеливо Авенир. – Я все это всегда по всякий час прекрасно помню и ничего такого нехорошего не думаю.

– Нехорошего! Хорошее или нехорошее ты себе думаешь, а только знай ты себе, что я не хочу, чтоб ты за мной слонялся. Слышишь ты это, Авенирка, или нет? Слышишь! не смей и никак не смей ты здесь со мной встречаться... И заступаться за меня тоже не смей и не приставай ко мне... потому что не хочу я этого; не хочу, не хочу и не желаю, да и... коли уж на правду пошло, так знай, что и надоел ты мне, вот – что!

– Ну, это, что... на что пустое говорить, невестка, неправду?

– Как пустое? Как это пустое? С чего это ты взял, что это пустое?

Авенир махнул рукою и, наложив на губы свекольный листочек, насосал его и равнодушно хлопнул.

Платонида Андревна рассмеялась и, пожав плечами, проговорила:

– Ну, смотрите, пожалуйста, на этого дурака, добрые люди!

– Эх уж, невестка, молчали бы! – отвечал Авенир.

– Что молчать? Отчего мне молчать?

– Что вам молчать? А зачем вы меня тогда целовали-то?

– Когда это? Когда это я тебя, дурака, целовала?

Врешь ты это все, врешь ты это, лгун ты этакой, никогда я тебя не целовала.

– Никогда?

– Никогда.

Платонида Андревна покраснела и, нагнувшись, стала еще скорее дергать свекольные листья совсем с землею.

– А забыли, невестка, как наших в прошлом году дома-то не было?

– Ну?

– А мы с вами тогда на кровати-то боролись... что, помните?

Платонида Андревна приподнялась и, строго смотря в глаза Авениру, спросила:

– Так что ж такое, что боролись?

– Так вот – тут-то вы меня щекотали...

– Ну?

– Ну да, и целовали, и отпираться нечего, что целовали.

– Пфффю, пустяки какие он помнит! – отвечала, закрывая рукавом лицо, Платонида Андревна. – Может, что и вправду как-нибудь тогда поцеловала, потому что ты еще мальчик – отчего ж мне тебя не поцеловать? Я этак хоть и сто раз тебя, изволь, поцелую.

– Ну, извольте – поцелуйте.

Авенир сделал к невестке шаг и слегка тронул ее за целый кисейный рукав.

– Поди прочь, дурак! – проговорила, отшвырнув девереву руку, Платонида Андревна и, рассмеявшись, бросила ему в лицо горсть мокрого свекольника.

– Важность он какую придумал, – продолжала она, – что я поцеловала! В этом остроге живучи, черта с рогами, и того поцелуешь.

– А вот же и опять, невестка, неправду сказали; вот не очень-то вы брата целуете.

– Авенир! – крикнула, приподнявшись и стараясь говорить как можно строже, Платонида Андревна. – Что ты, негодный ты парень, очень хочешь, чтоб я тебя изругала? Так я тебя, поганого мальчишку, сейчас вот как нельзя хуже отделаю.

– Да что вы это все меня мальчишка да мальчишка! Полно вам; пора и перестать мальчишкой-то звать меня.

– А потому я тебя так зову, что ты мальчишка.

– Что мне двадцать один год, то и вам ведь столько же. Ничуть моего не больше на свете прожили.

– Я женщина.

– А я мужчина.

– Дурак ты, а не мужчина! Важность какая мужчина! Да и разве такие-то бывают мужчины?

– Да, а то, невестка, какие же?

– Какие?.. А я вот не посмотрю, что ты мужчина, да оплеуху тебе хорошую дам.

– Ну, что ж такое! – отвечал Авенир.

– И ей-Богу дам! И ударю тебя, и изругаю, и как не надо хуже высрамлю, – сказала, возвышая голос и на этот раз непритворно сердясь Платонида Андревна. – Что это в самом деле за наказание! Ничего балбеска этакой не делает; на пыльную его калачом не заманишь; торговле не учится; с пристани все норовит, как бы ему домой скорей; да еще теперь, что себе, мерзавец, вообразил? Голова б у другого треснула такое подумать. Иди ты, негодяй, прочь! – крикнула она, размахнувшись на Авенира чашкой.

– Платоннида! – раздался в эту минуту со двора из-за сарая сухой, дребезжащий голос.

При первых звуках этого голоса Авенир запрыгал козлом через гряды и, перескочив через межу в горох, очутился как раз лицом к лицу с притаившимся здесь Пизонским.

Оба они сидели на корточках друг против друга, как сидят рано утром на лесной опушке молодые зайцы, и оба протирали себе руками удивленные глаза.

## VI. Два зайца смотрят один на другого

Между тем Платонида Андревна, глядя с улыбкой на прыгающего Авенира, спокойно отвечала:

– Сейчас!

– Что, не знаешь ли ты, где это Авенир? – продолжал тот же голос уже несколько ближе.

– Нет, Марко Маркелыч, не знаю, – отозвалась на это мужу Платонида Андревна.

В калитке показался похожий на ежа низенький, черный с проседью человек лет сорока пяти с злою физиономиею и сурово выглядывающими исподлобья подозрительными глазами.

– А здесь его нет? – спросил он, остановясь и распявшись руками на калитке.

– Да что же ему здесь, Марко Маркелыч, делать?

– Где ж это он, шальная собака, запропастился?

– Мне будто показалось что-то, что он на пристань рано пошел, – отвечала Платонида Андревна.

– Опять же-таки все это он без времени делает.

– Торопился, видно, что работы много.

– Усерден очень! Ну-к быть ему нынче за это его усердие опять без чаю. Мы с батюшкой идем на прядильню, а ты, если он вернется, чтоб самовара ему другого не смела ставить! Слышишь ты про то или нет?

– Слышу.

– Не давать ему чаю, когда он своего к тому времени не помнит.

– Не дам.

– Такой мой приказ: не давать!

– Да не дам же, не дам, Марко Маркелыч. Неужели ж-таки я вас в этом слушаюсь? Можете после и Дарью спросить, – отвечала мужу Платонида Андревна.

Калитка хлопнула на блок, и из-за гряды синих бобов в ту же минуту с испугом высунулась кудрявая голова Авенира. Он проворно запрыгал опять козлом через гряды и на бегу тихо показывал Платониде Андревне на грядку гороха.

– Скройся ты с глаз моих, неграчитель ты ненавистный! – проговорила, встречая его и озираясь по сторонам, Платонида Андревна. – Что ты бзыришь-то козлом по огороду? Пошел, тебе говорят, вон!

Но Авенир, не слушая этого приказа, тихо взял невестку за рукав и тихо же с серьезной миной указал ей рукою на гороховую гряду, за которой скрывался доселе Пизонский.

Платонида Андревна только что взглянула по этому направлению, как пронзительно вскрикнула; уронила из рук чашу с свекольником и закрыла руками глаза. В горохе, в нескольких шагах от поставленного для воробьев пугала, стояла длинная, смешная фигура Пизонского, на которой, тоже как и на пугале, висели лохмотья мокрого коленкорового халата, подпоясанного зеленою коноплею.

– Миленькая! Постой, миленькая Платонида Андревна, постойте! – заговорил Пизонский, вылезая из-за своей засады. – Я к тебе, девушка, не с злом пришла.

Платонида Андревна приняла от глаз руки и с немим удивлением рассматривала предстоявшую ей странную фигуру: ей казалось, что это не живой человек, а само гороховое пугало сошло с места, чтобы обличить ее в грехе Иродиады, в сердечной слабости к мужнину брату.

Константин Ионыч, разрушая убеждения Платониды Андревны о его тождестве с гороховым пугалом, первым делом поспешил счесться с нею родством; потом напомнил, как его три дня назад приняли Маркел Семеныч и муж Платониды, Марко Маркелыч, и наконец, поклонившись Платониде Андревне до земли, стал просить ее пособить ему приютить спрятанных им на конопляннике детей.

Известное дело, что никогда и никому женщина не способна оказать более великодушного сочувствия и услуги, как человеку, сделавшемуся случайно поверенным ее сердечной тайны.

Платонида Андревна подтвердила непреложную истину этого мнения: не расспрашивая ничего более у Пизонского, она прямо обратилась с вопросом к Авениру:

– Ну, как же быть? Что же мы, Авенир, сделаем?

Авенир только развел руками.

– Разве вот что, – продолжала Платонида Андревна, – разве ступай ты, Авенирка, от меня к бабушке Роховне; она хоть и не из церковных, но не строгая; она, может, сжалится – примет.

– И доложу тебе, моя умница, что одежонки на них, на бедных птенчиках, теперь никакой нет ровнехонько; одна-таки еще в рубашечке, а другая меньшинькая – совсем голенькая. Завернул я ее в свои штанцы, да не очень ладно ей в них, а ее лохматики все свалились, дитя; да, совсем свалились, – рассказывал Пизонский.

– Это ничего, – отвечала Платонида Андревна, – это я сейчас вынесу. Чтоб только Дарья воровка за мною как не подсмотрела! – добавила она, взглянув на Авенира и приложив к губам палец. – Она нонче все за мной, как есть всякий мой шаг замечает.

– А вы, невестка, будто как на пугало что негодное несете: сверните в комочек да и пронесите, – научал Авенир невестку.

– Только я свое разве что – детского у меня ничего нет, потому детей у нас нет в доме – не рожая я, – заговорила, бегучи к калитке, Платонида Андревна.

Минут через пять она громко закричала на дворе «шугуу!» и выскочила на огород с туго свернутым комком, из которого мотались и коленкор, и холст, и пола стеганой ватной шубеечки.

Ткнув этот сверточек Пизонскому, она дернула за локоть Авенира и сказала:

– На, забеги оттуда в трактир, там чаю напейся, – и с этим она сунула ему в руку пятиалтынный.

Авенир ласково отвел невесткину руку, тряхнул кудрями и проговорил:

– Спрячьте, невестка, спрячьте; я и без чаю хорош буду.

С этими словами Авенир не хуже ловкого волтижера перелетел через частокол и побежал вслед за Пизонским, который, обхватив руками данные ему веточки, уже выбирался широкими шагами на поле.

## VII. Из одного старого плаща делается несколько новых курток

Древлепечатная бабушка Февронья Роховна, местная знахарка и акушерка, была старуха очень добрая и, по замечанию Платониды Андревны, «не строгая». Она пустила Пизонского с принесенными им в плетушке детьми пожить в маленьком деревянном чуланчике, где у нее висели разные целебные и мнимо целебные корни и травы. Пока до осени Пизонский приютился здесь так, что, по крайней мере, и дождичек божий, и холодки ночные ему с детьми были не страшны; а Авенир каждую неделю два раза приносил сюда от Платониды Андревны и печеного, и вареного, и молока, и свежей огорошины. Пизонский устроивался. Он постоянно сидел на полу в чулане возле кровати, на которой помещались его дети, и то забавлял их самодельными игрушками, то ковылял иглою, перешивая им из присылаемой Платонидой Андревной ветоши разные рубашечки, шапочки, фуфаечки да эпанечки. О Пизонском еще почти никто в это время не знал в Старом Городе; а кто знал, тот или ничего о нем не думал, или думал, что это новый нищий, новый стоялец соборного притвора. Сама бабушка Роховна, глядя на его возню и хлопоты, не предрекала ему другой судьбины и мысленно упрекала его, зачем он забрал детишек.

– Как ты с ними будешь, Ионыч? – говорила ему не раз, указывая на детей, бабушка Роховна.

– Бабушка, – отвечал старухе Пизонский. – Сидел пророк Илия один в степи безлюдной; пред очами его было море Синее, а за спиною острая скала каменная, и надо бы ему погибнуть голодом у этой скалы дикой.

– Так, батюшка, – подтвердила Роховна.

– Да послал к нему Господь ворона, – говорил, оживляясь, Пизонский, – и повелел птице кормить слугу своего, и она его кормила. Замечай: птица, бабушка, кормила! *птица!*

– Так, батюшка, точно что кормила.

– Да, мать Февронья Роховна, кормила. И послал мне Господь двух птиц: летает ко мне ворон Авенир и печется обо мне белая лебедь Платонида Андревна, и прокормят они меня с цыплятками моими, пока я обошью ребетенка и сам стану на ноги.

«Где тебе стать на ноги?» – молча думала про себя, отходя от него, бабушка Роховна; но скоро она переменяла это мнение.

Константин Ионыч, принимая пособие Авенира и Платониды, однако и сам не сидел сиднем и не ждал воды под лежащий камень. Энциклопедизм скоро его выручил и показал даже бабушке Роховне, что ни сам Пизонский, ни его цыпляты действительно не пропадут – ни с холоду, ни с голоду.

Обшив девочек, Пизонский вступил с бабушкой в переговоры о дозволении обрядить ее чулан на свой счет в жилую каморку с тем, что он, как Бог его поправит, сдаст ей все в порядке, а пока будет здесь жить, станет ей платить по полтиннику в месяц.

Бабушка Роховна, не видя для себя в этом ничего, кроме прибытка, согласилась. Пизонский, пользуясь теми часами, когда наигравшиеся дети засыпали, натаскал на бабушкин двор мешком глины, вымазал чулан самым тщательным образом, напихал в подполье земли, сложил крошечную печурку и, наконец, спокойно крякнул и сказал детям: ну, теперь вам, пташки, будет тепло, не замерзнете.

У-у, как богат и как счастлив теперь был Пизонский, и каким назидательным примером он мог бы служить для великого множества и скорбящих, и сетующих, и разрешающих проблематические трактаты о счастье!

## **VIII. Робинзон начинает приводить диких в удивление**

С устройством каморки Пизонский далеко отогнал от себя всякое беспокойство. Теперь у него была только одна насущная забота: приучить старшую, пятилетнюю девочку Глашу присматривать, в его отсутствие, за ее младшей сестрой Нилочкой или, как Пизонский звал ее, *Милочкой*.

Достигнув того, что малосмысленную Милочку можно было оставлять под надзором Глаши, Константин Ионыч начал отлучаться на короткое время из дома, и после каждой такой отлучки возвращался всегда домой с очень странными покупками, на которые истратил последние два рубля, принесенные им из солдатчины. Прежде всего Пизонский пришел домой с каким-то старым горшком; потом он в несколько приемов натаскал к себе разных негодных баночек, пузырьков и бутылочек и наконец принес чернильных орешков, меду и голландской сажи. С этими препаратами и с этим материалом Пизонский уселся перед печкой за химические занятия. Дня через два он вышел из дому с большой бутылкой чернил и с деревянным ящичком черной лоснящейся ваксы. На чернилах Пизонский сбанкрутовал, потому что сторожа присутственных мест делали чернила на казенные деньги и, следовательно, могли продавать этот продукт на сторону гораздо дешевле Пизонского; но его свежая вакса оказалась гораздо лучше сухой синей ваксы, получаемой в плитках из Москвы, и эта часть коммерции его выручила. Константин Ионыч совсем ожил и стал еще смелее и предприимчивее. Скоро Старый Город увидел его беспрестанно снующего из дома в дом с набитым ваксою деревянным ящичком и с дешевыми, очень прочными самодельными щетками. Пизонский летал со своим ящичком во все дома, в лавки, в присутственные места, на постоянные дворы; везде он тихо и не спеша снискивал себе общую расположенность, со всеми знакомился и всякому на что-нибудь пригожался. В уездном суде часы были лет двадцать с таким частым боем, что никто не мог счесть, сколько они ударили, час или двенадцать; Пизонский снял тяжелую боевую гирию, а вместо ее повесил небольшой холщовый мешочек с песком, и часы стали бить отчетисто: раз, два, три – как следует. Отцу-протопопу Туберозову он устроил в окне жестяной вентилятор; городскому голове сделал деревянную ногу, чтобы чистить на ней его высокие голенища; кому полудил кастрюлю; кому спаял изломанные медные вещи, склеил разбитую посуду, и Старый Город не успел оглянуться, как Пизонский, в самое короткое время, прослыл в нем самым полезным человеком. Теперь кажется, если бы Пизонский сам задумал почему-нибудь оставить Старый Город, так все бы так и ахнули, так бы и заговорили в один голос: нет, как же это мы останемся без Константина Ионыча? Почтмейстерша, слывшая за большую хозяйку и великую ехидну, даже несколько раз публично выражала такое мнение, что без Пизонского в Старом Городе и жить было бы невозможно.

С голоса почтмейстерши, в самом скором времени, то же самое заговорили о Пизонском и другие.

– Нет, нет, нет, – говорили эти другие. – Боже спаси нас остаться без Константина Ионыча! Теперь даже, как вспомнишь это время, как его у нас не было, когда за всяким пустяком, бывало, посылай в губернию, так и не понимаешь даже, как это мы и жили.

Пизонский, может быть, уже должен бы был заботиться о том, чтобы не возбуждать против себя зависти и злословия, потому что мужа восхвалявших его жен нередко отвечали на эти панегирики: ну да, без вашего Константина Ионыча уж мы бы и хлеба не ели!

Но Пизонский вел себя тихо, ровно и, не возносясь своими успехами, не возбуждал и ничьей зависти.

Доброе имя его все росло, и общее расположение к нему все увеличивалось. Расположение это выражалось не одними словами, но и делами. В городе вдруг оказалось несколько лиц,

которых стала серьезно занимать мысль о том, как бы прочно устроить здесь многополезного Константина Ионыча.

Первая выразила такую заботливость почтмейстерша.

Эта полная, животрепещущая дама, которой, как греческого огня, боялись все почталыоны и которой больше всех боялся ее муж, зашла в своей расположенности к многополезному Пизонскому до того, что вменила мужу в непрременную обязанность дать Пизонскому место при почтовой конторе.

– Матушка! – начинал, складывая на груди руки умоляющий почтмейстер, желая этим покорным жестом изъяснить супруге, как трудно создать для Пизонского место при почтовой конторе.

– Что-с? – грозно окликнула мужа животрепещущая почтмейстерша. – Я этого требую; слышите, *требую!*

– Ангел мой! – еще ниже одною ногою запевал почтмейстер. – Но если этого нельзя?

Почтмейстерша посмотрела на мужа холодным презрительным взглядом.

– Ну, я молчу уж, молчу, – отвечал, отходя в угол, почтмейстер.

– Нет, а вы бы поговорили.

– Нет, я, мамочка, молчу.

– Напрасно; право, напрасно, а то вы бы поговорили!

Но уж почтмейстер знал, что он замолчал не напрасно.

– Голубчик, Дезидерий Иваныч, – обратился на другой день почтмейстер к своему сортировщику. – Сделай милость, научи, как бы нам дать в конторе Пизонскому место. Непременно этого требует Агафья Алексевна.

– Ах, ты Боже мой! – отвечал сортировщик, и оба они с почтмейстером задумались.

– Разве вот что, – начал, потянув себя двумя перстами за нижнюю губу, Дезидерий Иваныч. – Разве посадить его расписываться в получательской книге.

– Вы, ей Богу, министр, – отвечал обрадованный почтмейстер и тотчас же послал сторожа за Константином Пизонским.

Призванный Пизонский и рад и не рад был своему счастью: с одной стороны, его манила прелесть заработка за расписку вместо неграмотных, а с другой, как вспоминал он степень собственной грамотности и особенно брал в расчет долговременное неупражнение в этом капризном искусстве, он не решался взяться за это хитрое дело.

– Робок я, девушка, на пере, – говорил он почтмейстеру.

– Дезидерий Иваныч тебя, Константин Ионыч, поучит; он тебя поучит, поучит.

Пизонский подумал и, поджигаемый безгрешной корыстью, отвечал: ну, разве поучит.

Дали таким манером Пизонскому место – только не впрок пошло ему это место по протекции. Первый же почтовый день, в который ему пришлось расписываться за неграмотного получателя, был и последним днем его почтовой службы.

– Пиши, Константин Ионыч, – диктовал ему сортировщик.

Пизонский взял в руки перо; сначала его поспешил, потом обмакнул, потом положил на бумагу руку, а на руку налегнул правой щекою, долго выводил пером разные разводы и наконец воскликнул: *есть!*

Сортировщик с внятыми расстановками начал диктовать «оные семь рублей и десять копеек серебром получил и расписался такой-то, а вместо его неграмотного отставной рядовой Константин Пизонский».

Пизонский еще крепче прижал щеку к бумаге и пошел выводить.

На этот раз он рисовал до бесконечности долго; круглые глаза его выпирало от внимательного следования за водяшею пером рукою; на лбу собирались капли холодного пота, и все лицо его выражало невыносимую тревогу.

Это продолжалось добрую четверть часа, по истечении которой Пизонский вдруг быстро откинулся на спинку стула, потом вскочил и затрясся, не сводя глаз с своей расписки. Вид его в это время был просто ужасен: он походил на медиума, вызвавшего страшного духа и испуганного его явлением. Сортировщик и почтмейстер заглянули на роковую страницу и остолбенели. На этой странице рукою Пизонского было изображено: «Оние скилбуры и удаст кокеу с рублем почул и распился отстегни на вид Константинтинтин...»

Это убийственное для воспроизведения пером имя подняло в душе Пизонского все забытые страдания его сиротского детства; каждое одно из другого вытекавшее «тинтинтин» являлось перед ним новым, злым, насмешливым кобольдом, или гномом, и он не выдержал, встал в страхе и затрясся.

– Вот, ангел мой, как он расписался, – говорил через минуту почтмейстер, предъявляя жене испорченную получательскую книгу.

Почтмейстерша не выдержала и улыбнулась, прочитавши Пизонского «скилбуры».

– И «отстегни на вид», – указывал ей обрадованный ее улыбкою почтмейстер.

– Ну, что ж вы тут такое особенное показываете?

– Да помилуй же, душка: «отстегни на вид». Как же это можно так расписываться? В этом ведь просто нет смысла.

– Решительно я здесь ничего не вижу, – отвечала твердым голосом почтмейстерша. – Я бог знает как уверена, что в этом есть смысл и что он это откуда-нибудь из полкового припомнил. Да, именно даже из полкового, потому что, когда я имела много знакомых полковых, я всегда слышала, что есть такая команда.

– Душенька моя, нету!

– Да уж нечего душкаться; не мог же он сам этого выдумать? Согласитесь вы с тем, что сам человек этого выдумать не может?

– Я, душенька, с этим готов согласиться, – отвечал почтмейстер.

– Ну, а впрочем, я точно согласна, что он к почтовой службе неспособен.

– Решительно, друг мой, неспособен.

– Да, я это вижу, что неспособен, но я все-таки буду о нем самого хорошего мнения, – отвечала почтмейстерша так, как будто она была хорошего мнения о тех, которые к почтовой службе способны.

Этот новый анекдот о Пизонском разошелся по городу, но и он нимало не повредил его незыблемой репутации.

Напротив, Пизонского чуть ли не с этих пор даже начали принимать в чиновничьих домах не как ремесленника, а как свободного художника, которому мелочи, приказное строчительство даже и неприличны. Его теперь не кормили на кухнях, а сажали на особый стул у двери залы; ему подносили рюмку водки не между пальцами, а на ломте хлеба, и говорили ему в глаза не просто «ты», а «ты, Константин Ионыч». Он до такой степени выдвигался из положения рабочего смерда, что даже сам голова стал посылать ему чаю не в сени, а в молодцовскую и позволял рассуждать с собою, стоя у притолки. И не прошло года, как все заметные люди Старого Города самым незаметным образом очутились друзьями и сторонниками убогого пришельца Пизонского. Даже молодой народ, по натуре своей везде народ ветреный и легкомысленный, отзывался о Константине Ионыче небезвыгодно для его значения в городе. «Да, этот Пизон, – говорила молодежь, – дарма, что он набекрень нос носит, ну, а меж тем он шельма прештуковатый».

Принося всем и каждому посильные услуги и втираясь, без всяких подбострастных искательств, во всеобщее расположение, Константин Ионыч никогда не жаловался на свою судьбу и даже никогда ни слова никому не говорил о своих сиротках. Разве когда кто сам его о них спрашивал: «Ну как, Константин Ионыч, твои дети?» – то только в таких случаях Пизонский отвечал: «А живут, девушка, растут помаленьку».

– Ты бы, Константин Ионыч, подумал, чтоб дать им какое-нибудь воспитание, – говорили ему барыни. Пизонский отмалчивался или коротко отвечал:

– Думаю, девонька, думаю.

– Хоть бы ты ко мне их присылал поучиться, – предлагала ему почтмейстерша.

Пизонский и от этого отделался.

– Дики они у меня, дружок; очень сиротливы; людей не видали; куда им в господском доме!

У Константина Ионыча насчет воспитания сирот были свои планы, о которых он ни с кем не говорил, но которые знал до малейших деталей.

Совесь, не допуская Пизонского никому ни на шаг не заступит никакой дороги, изошрила его внимание к тем бросовым средствам, которые лежат праздными, которые как бы никому ни на что не нужны и не обращают на себя ничего внимания. Неудача почтовой карьеры еще более убедила Пизонского, что он не может идти теми путями, которые легче и которыми могут идти другие. Он как бы чувствовал, что ему суждены свои исключительные пути; что для него гораздо удобнее брать в свои руки то, чем небрегли другие и что не даст ему ни недостойной борьбы, ни врагов и завистников.

Пизонский видел, что на нашей просторной земле, на нашей широкой полосе и нежатой, и неоранной, еще нетронутого добра будет и преизбудет на всякую плоть, не щадящую пота своего, и он сделал новый шаг к устройству сирот своих. В одно лето Пизонский явился на сходку в думу и сказал: не будет ли, господа думцы, вашей милости пустить меня с сиротами покормиться под мост на пустой остров?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.